

Митч Каллин
Мистер Холмс
Серия «Шерлок Холмс. Игра продолжается»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8221108

*Пчелы мистера Холмса : роман / Митч Каллин: Азбука, Азбука-Амтикус; Санкт-Петербург; 2014
ISBN 978-5-389-08655-5*

Аннотация

Кончилась Вторая мировая война, но блистательный герой Конан Дойла – непревзойденный Шерлок Холмс – все еще жив. Ему за девяносто, он обитает в Сассексе, занимаясь разведением пчел. В поисках редкого растения, по слухам продлевающего жизнь, великий сыщик, невзирая на преклонный возраст, отправляется в побежденную, пережившую атомные бомбардировки Японию.

Люди по-прежнему ждут от него чудес: только он способен объяснить пожилому японцу, почему и как пропал в Лондоне его отец полвека назад. Шерлок Холмс в романе Митча Каллина был и остается богом. Никому невдомек, что в слабеющей памяти рационалиста прошлое и настоящее, реальность и вымысел давно сплелись в причудливый узор, заставив его пересмотреть многие из своих прежних взглядов и вспомнить свою единственную любовь.

Книга также выходила под названием «Пчелы мистера Холмса».

Содержание

Часть первая	5
Глава 1	5
Глава 2	7
Глава 3	13
Глава 4	27
Глава 5	33
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Митч Каллин

Мистер Холмс

© Д. Харитонов, перевод, 2014

© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2014

Издательство АЗБУКА®

* * *

*Моей матери, Шарлотте Ричардсон, любительнице тайн
и живописных путей бытия, и покойному Джону Беннету Шоу,
однажды оставившему меня распоряжаться своей библиотекой*

*По крайней мере, я был уверен, что увидел наконец лицо,
так много значившее в моей жизни, и оно оказалось более человеческим
и детским, чем в моем сне. Больше мне нечего сказать, ибо оно тут же
исчезло вновь.*

Морио Кито. Призраки

*Что это за странный тихий голос, обращенный к пчелам
и не слышимый больше никому?*

Уильям Лонггуд. Королева должна умереть

Часть первая

Глава 1

Возвратившись летним днем из-за границы, он вошел в свой каменный сельский дом, оставив багаж у двери на попечение экономки. Затем удалился в библиотеку и тихо сел там, радуясь, что окружен книгами и привычностью жилища. Его не было почти два месяца – на военном поезде он проехал через Индию, на корабле Королевских ВМС прибыл в Австралию и затем ступил на оккупированный берег послевоенной Японии. Туда и обратно он добирался одним и тем же бесконечным маршрутом, обычно в обществе шумных солдат-срочников, из которых лишь немногие признавали пожилого джентльмена, обедавшего или сидевшего рядом (этого тихоходного старикана, который вечно искал и не находил в карманах спички, неустанно жуя незажженную ямайскую сигару). Лишь в редких случаях, если осведомленный офицер объявлял, кто он такой, румяные лица в изумлении обращались к нему, оценивая, – ибо, хоть он и опирался на две трости, его спина не утратила прямизны и годы не замутнили пронизательных серых глаз; снежно-белые волосы, густые и длинные, как и борода, были зачесаны назад на английский манер.

– Это правда? Вы на самом деле он?

– Боюсь, что мне все еще принадлежит эта честь.

– Вы – Шерлок Холмс? Нет, не верю.

– Ничего страшного. Я сам верю в это с трудом.

Но вот путешествие завершилось, хотя он и затруднялся восстановить в подробностях проведенные вдали от дома дни. Вместо этого вся поездка – ублажившая его подобно сытной трапезе – задним числом представлялась ему непостижимой, подсвеченной мимолетными воспоминаниями, которые вскоре превратились в смутные образы и прочно забылись вновь. Зато у него оставались неизменные комнаты его дома, ритуалы размеренной сельской жизни, надежность его пасеки; все это вжилось в него за десятилетия отшельничества и не нуждалось в емкой – а тем паче в скудеющей – памяти. И еще пчелы, которых он разводил: мир менялся, и он тоже, но они оставались прежними вопреки всему. И когда его глаза закрылись и дыхание выровнялось, именно пчела приветствовала его по возвращении – рабочая особь возникла в его мыслях, отыскала его в иных пределах, уселась на горло и ужалила.

Конечно, он знал, что, если пчела ужалила в горло, нужно выпить воды с солью, дабы предотвратить осложнения. Разумеется, прежде всего надо извлечь жало, желательно в первые же мгновения после того, как был выпущен яд. За сорок четыре года пчеловодства на южных склонах Сассекс-Даунса – он жил между Сифордом и Истбурном, ближайшей деревушкой была крохотная Кукмер-Хейвен, – пчелы жалили его 7816 раз (почти всегда в лицо или руку, реже – в мочку уха, шею или горло: причины и последствия каждого укуса были ответственно обдуманы и занесены в одну из многочисленных тетрадей, которые он держал у себя в кабинете в мансарде). Эти умеренно неприятные опыты со временем привели к созданию разнообразных снадобий, применявшихся в зависимости от того, какая часть тела пострадала и как глубоко вошло жало: холодная вода с солью, смесь соли с мягким мылом и половинка сырой луковицы для прикладывания к раздражению; при чрезвычайно болезненных ощущениях иногда помогали жидкая грязь или глина, накладываемые ежечасно до исчезновения опухоли; для снятия же сильной боли, а также чтобы предупредить воспаление, наиболее действенным решением было безотлагательное растирание кожи влажным табаком.

Но сейчас – в библиотеке, дремля в кресле у пустого камина, – он запаниковал во сне, не в силах вспомнить средство против этого внезапного укуса в кадык. Он видел, как там, во сне, стоит в широком поле календулы, сжимая горло худыми артритными пальцами. Опухоль уже росла, набухая под его рукой, как выпирающая вена. Страх охватил его, и он окаменел, а опухоль все увеличивалась (раздуваясь, выпуклость раздвигала пальцы, горло отекало).

И он видел, как выделяется в этом поле календулы на фоне красного и золотого. Нагой, явивший свою бледную плоть над цветами, он походил на ветхий скелет, обернутый в тонкую рисовую бумагу. Пропали покровы его уединения – шерсть, твид – добротная одежда, которую он носил изо дня в день: и до Великой войны¹, и всю вторую Великую войну, и потом, вплоть до девяносто третьего года своей жизни. Его ниспадающие волосы были острижены почти наголо, от бороды осталась лишь щетина на торчащем подбородке и запавших щеках. Тростей, облегчавших ему ходьбу, – тех самых, что лежали у него на коленях в библиотеке, – во сне тоже не было. Но он устоял на ногах, даже когда его горло сдавило окончательно и стало не продохнуть. Жили одни губы, беззвучно хватавшие воздух. Все остальное – его тело, распускающиеся цветы, высокие облака – утратило всякое зримое движение; замерло все, кроме этих трепещущих губ и одинокой пчелы, деловито перебирающей черными лапками по его морщинистому лбу.

¹ В западноевропейской исторической традиции так называется Первая мировая война (1914–1918). (Здесь и далее – прим. перев.)

Глава 2

Холмс задохнулся, просыпаясь. Он открыл глаза и, прокашливаясь, оглядел библиотеку. Сделал глубокий вдох, отметив косой луч тускневшего солнца в западном окне: свет и тень, упавшая на полированные доски пола и доползшая стрелкой часов до самого края персидского ковра под его ногами, дали ему знать, что сейчас ровно 5.18 пополудни.

– Проснулись? – спросила миссис Монро, его молодая экономка, стоявшая тут же, спиной к нему.

– Совершенно верно, – ответил он, сосредоточивая взгляд на ее хрупкой фигуре: длинные волосы стянуты в тугий пучок, выющиеся темно-каштановые пряди падают на стройную шею, тесемки коричневого передника завязаны сзади.

Из плетеной корзинки на столе она извлекла кучу корреспонденции (письма с иностранными марками, бандероли, большие конверты) и, как ей было поручено делать раз в неделю, начала раскладывать их в стопки по размеру.

– Вы опять это во сне, сэр. Звук этот, будто задыхаетесь, – опять он у вас во сне, как до отъезда. Принести вам воды?

– Я не думаю, что в настоящую минуту это необходимо, – сказал он, рассеянно нашивая трости.

– Как вам будет угодно.

Она продолжила раскладывать – письма налево, бандероли посередине, большие конверты направо. В его отсутствие пустой обыкновенно стол заполнился горами самых разных посланий. Он знал, что там обязательно будут подарки, странные вещи из дальних краев. Будут просьбы об интервью для журнала или для радио и будут мольбы о помощи (потерявшийся домашний питомец, украденное обручальное кольцо, пропавший ребенок и тьма прочей удручающей чепухи, не стоящей ответа). Далее – якобы ждущие публикации рукописи: завиральные и разудалые повествования о его былых подвигах, многомудрые криминологические изыскания, гранки детективных антологий – вкуче с льстивыми прошениями о поддержке, о похвальном отзыве для будущей обложки или, возможно, о предисловии. Он редко отвечал на что-либо в этом роде и никогда не потакал журналистам, писателям или искателям популярности за его счет.

И тем не менее обычно он внимательно прочитывал каждое присланное письмо, изучал содержимое каждой полученной посылки. В этот единственный день в неделю – холодной ли, теплой ли порой – он занимался за столом при горящем камине, вскрывая конверты и вникая в написанное, прежде чем скомкать бумагу и бросить ее в огонь. Подарки, впрочем, откладывались и аккуратно помещались в корзинку, чтобы миссис Монро отдала их тем, кто ведал в городке благотворительностью. Но если послание касалось некоего определенного увлечения, если там не было подобострастных славословий и оно толково отражало заинтересованность тем, что занимало Холмса более всего, – процедурой вывода матки из яйца рабочей пчелы, полезными для здоровья свойствами маточного молочка или, например, новостями в области разведения туземных кулинарных трав вроде зантоксилума перечного (и прочих разметанных по миру курьезов природы, способных, в его представлении, подобно маточному молочку, задержать досадный упадок физических и умственных сил в немолодом организме), – то существовала большая вероятность, что письмо избегнет сожжения; в таком случае оно могло попасть в его карман и пролежать там до тех пор, пока он не сядет за стол в своем кабинете и его пальцы не извлекут письмо для дальнейшего рассмотрения. Порою эти уцелевшие письма куда-нибудь сманивали его: в травяной сад за развалинами аббатства неподалеку от Уординга, где буйно рос загадочный гибрид лопуха и красного щавеля; на пчелоферму под Дублином, где был собран нежданный уро-

жай кисловатого, но не горького меда – оттого что соты оказались покрыты влагой, а погода стояла исключительно теплая; в последний раз – в Симоносеки, японский город, где готовили особое блюдо из зантоксилума перечного, которое, в сочетании с рационом из пасты мисо и перебродившей сои, похоже, обеспечивало местным жителям устойчивое долголетие (поиски документальных свидетельств и сведений из первых рук, имевших отношение к столь редкому, возможно, продлевающему жизнь кушанью, были главным делом его одиноких лет).

– Вам с этим за сто лет не разделаться, – сказала миссис Монро, кивая на стопки писем. Опустив пустую корзинку на пол, она повернулась к нему со словами: – Есть еще, в шкафу в передней, все коробками заставлено.

– Очень хорошо, миссис Монро, – резко отозвался он, надеясь пресечь дальнейшие рассуждения.

– Мне принести остальное? Или подождать, пока вы с этой кучей закончите?

– Можете подождать.

Он взглянул на дверь, показывая, что желает ее ухода. Но она оставила это без внимания, помедлила, расправляя передник, и присовокупила:

– Там столько еще в шкафу – страшно сказать.

– Это я понял. Думаю, пока я займусь тем, что находится здесь.

– Скажу, дел у вас по горло, сэр. Если вам нужно помочь...

– Я справлюсь, спасибо.

Уже пристально он посмотрел на дверь, склонив голову в ту сторону.

– Вы не голодны? – спросила она, нерешительно ступая на персидский ковер, в солнечный свет.

Грозный взгляд, смягченный вздохом, остановил ее приближение.

– Ни в малейшей степени, – ответил он.

– А ужинать вы будете?

– Полагаю, что это неизбежно. – Он на миг вообразил, как она неряшливо трудится на кухне – вываливает на стол требуху, роняет на пол хлебные крошки и вкуснейшие ломти стилтонского сыра. – Вы твердо намерены приготовить ваш сомнительный бифштекс?

– Вы же говорили, он вам не нравится? – удивилась она.

– Не нравится, миссис Монро. Действительно, не нравится – во всяком случае, в вашем исполнении. Зато запеканка с мясом удалась вам на славу.

Ее лицо просветлело, хотя она и сдвинула в раздумье брови.

– Вот что: у меня с воскресенья осталась говядина. Можно взять ее – но я же знаю, вы больше любите баранину.

– Воскресная говядина вполне сойдет.

– Значит, запеканка с мясом, – сказала она, и ее голос посерьезнел: – Еще я разобрала ваши чемоданы. Не знала, что делать с тем смешным ножом, который вы привезли, так что он у вас рядом с подушкой. Смотрите не порежьтесь.

Он вздохнул еще глубже и закрыл глаза, совершенно убрав ее из виду.

– Он называется *кусунгобу*, моя дорогая, и я ценю вашу заботу – не хотелось бы мне быть заколотым в собственной постели.

– А кому бы хотелось?

Он сунул руку в карман, нащупывая недокурную половину сигары. Но, к своему огорчению, он обнаружил, что где-то потерял ее (не исключено, что сходя с поезда, когда нагнулся за выскользнувшей тростью, – вероятно, тогда сигара и выпала из кармана на платформу и ее затоптали).

– Может быть, – пробормотал он, – а может...

Он искал в другом кармане, слушая, как туфли миссис Монро сошли с ковра, пересекли дощатый пол и проследовали за дверь (семь шагов, и она покинула библиотеку). Его пальцы сомкнулись на цилиндрическом предмете (почти тех же длины и объема, что наполовину докуренная сигара, но по весу и плотности Холмс тотчас определил, что это не она). Подняв же веки, он воззрился на пузырек бесцветного стекла на своей ладони; всмотревшись – солнечный свет вспыхивал на металлической крышечке, – он разглядел двух мертвых пчел, заключенных внутри, слившихся друг с другом, переплетших лапки, будто смерть застигла их в страстных объятиях.

– Миссис Монро...

– Да? – откликнулась она, развернувшись в коридоре и торопясь обратно. – Что?

– Где Роджер? – спросил он, опуская пузырек в карман.

Она вошла в библиотеку, сделав те же семь шагов, что отмерили ее уход.

– Прошу прощения?

– Ваш сын, Роджер, – где он? Я еще не видел его.

– Но, сэр, он заносил в дом ваши чемоданы, разве вы не помните? А потом вы велели ему пойти подождать вас у этих ваших ульев. Вы сказали, что он будет нужен вам для осмотра.

Растерянность отразилась на его бледном бородатом лице, и замешательство, сопутствующее минутам осознания небыстроты своей памяти, затуманило его (что еще забылось, что еще утекло, как песок сквозь пальцы, и что пока еще известно наверняка?), но он попытался отогнать тревогу, найдя разумное объяснение тому, что смущало его.

– Конечно же так и есть. Утомительное путешествие, понимаете ли. Я мало спал. Он давно ждет?

– Порядочно, даже чаю не попил, но навряд ли это ему в тягость. Пока вас не было, он пекся об этих пчелах почище, чем о родной матери, скажу я вам.

– Неужели?

– К сожалению, да.

– В таком случае, – сказал он, устанавливая трости, – не буду заставлять его ждать еще.

Поднявшись с кресла – трости помогли ему встать на ноги, – он направился к двери, считая про себя шаги – один, два, три, – не обращая внимания на миссис Монро, говорившую за его спиной:

– Мне пойти с вами, сэр? Вы справитесь?

Четыре, пять, шесть. Он не догадывался, что она нахмурилась, когда он с трудом двинулся вперед, не предвидел, что она высмотрит его сигару, как только он покинет комнату (нагнется над креслом, вытянет зловонный окурок из-за сиденья и бросит в камин). Семь, восемь, девять, десять – одиннадцать шагов вывели его в коридор: на четыре шага больше, чем требовалось миссис Монро, и на два шага больше, чем обычно делал он сам.

Несомненно, заключил он, переведя дух у входной двери, некоторой вялости удивляться не приходится; он как-никак объехал полсвета, обходясь без своего всегдашнего завтрака – гренка с маточным молочком; в маточном молочке, богатом витаминами группы В и содержащем существенное количество сахаров, протеина и некоторых органических кислот, он нуждался для поддержания хорошего самочувствия и жизненных сил; лишившись обычной диеты, решил он, его тело и понесло определенный урон, и память тоже.

Но стоило ему выйти из дому, как его разум ободрился зрелищем природы, залитой вечерним светом. Растительный мир не вызывал недоумения, и предзакатные тени не наводили на мысль о пустотах, где обреталась его дробная память. Все в нем оставалось таким, каким было десятилетиями, – и он тоже: легко ступал по садовой тропинке, мимо диких нарциссов и травяных грядок, мимо густо-фиолетовых будлей и тянущегося ввысь гигантского чертополоха, глубоко дыша на ходу; тихий ветерок шелестел в окрестных соснах, и он

наслаждался хрустом шагов и тростей по гравии. Он знал: оглянувшись сейчас через плечо, он увидит свой дом, заслоненный четырьмя высокими соснами, увитые розами дверь и окна, сандрики над окнами, выступающие из стен каменные средники; преимущественная часть всего этого будет еле различима за перекрестьями игл и мохнатых лап. Впереди, где кончалась тропинка, простирался луг, обильно расцвеченный азиями, лавром и рододендронами, за которым обособились несколько дубков. А под дубками, ровными рядами по два улья в каждом, лежала его пасека.

Вскоре он уже шел по ней, и юный Роджер – жаждавший поразить Холмса хорошим уходом, которого сподобились в его отсутствие пчелы, и бегавший от улья к улью без сетки на лице и с высоко закатанными рукавами, – доложил ему, что, после того как рой был заселен в начале апреля, незадолго до отъезда Холмса в Японию, пчелы целиком покрыли рамки воском, построили соты и заполнили медом все шестигранные ячейки. К его восхищению, мальчик даже сократил число рамок до девяти на улей, тем самым освободив пчелам рабочее пространство.

– Превосходно, – сказал Холмс. – Ты замечательно смотрел за ними, Роджер. Я весьма доволен твоим старанием. – Вознаграждая мальчика, он двумя пальцами достал из кармана пузырек и протянул ему. – Это я привез тебе, – сказал он, глядя, как Роджер берет склянку и с легким изумлением рассматривает содержимое. – *Apis cerana japonica*, или, пожалуй, назовем их просто японскими медоносными пчелами. Что скажешь?

– Спасибо, сэр.

Мальчик улыбнулся ему, и, заглянув в совершенно голубые глаза Роджера, легко поворачив его нечесанные светлые волосы, Холмс улыбнулся в ответ. Потом оба повернулись к ульям, на время умолкнув. Такая тишина в пчельнике неизменно и всецело улаждала его; по тому, как непринужденно стоял возле него Роджер, он судил, что мальчик разделяет это удовольствие. И хотя его редко радовало детское общество, подавлять отеческие порывы по отношению к сыну миссис Монро было нелегко (как, часто задумывался он, эта нелепая женщина могла родить столь многообещающего отпрыска?). Но даже в своем почтенном возрасте он находил невозможным показывать свои истинные чувства, особенно к четырнадцатилетнему ребенку, чей отец оказался в числе потерь британской армии на Балканах и которого, он подозревал, Роджеру отчаянно недоставало. Впрочем, в обращении с экономками и их родней всегда следовало проявлять сдержанность – бесспорно, достаточно было просто стоять рядом с мальчиком: их молчание, как хотелось надеяться, говорило больше любых слов, глаза осматривали ульи, следили за колеблющейся дубравой и созерцали плавное превращение дня в вечер.

Немного погодя миссис Монро с садовой тропинки позвала Роджера помочь ей на кухне. Тогда они с мальчиком нехотя пошли через луг, не спеша, останавливаясь понаблюдать за голубой бабочкой, порхавшей вокруг благоуханных азалий. Перед самым закатом они вошли в сад, рука мальчика мягко поддерживала его за локоть – и та же рука ввела его в дом и не оставляла, пока он не поднялся к себе в кабинет (всходить по лестнице было не самой трудной задачей, но он бывал благодарен всякий раз, когда Роджер служил ему живой опорой).

– Мне прийти позвать вас на ужин?

– Пожалуйста, будь так добр.

– Хорошо, сэр.

И он сел за свой стол дожидаться, когда мальчик снова поможет ему, сведет по лестнице. Пока же он занялся изучением записок, которые набросал до отъезда, таинственных надписей, нацарапанных на клочках бумаги, – *фруктоза преобладает, растворяется лучшие глюкозы*, – значение которых ускользало от него. Он огляделся вокруг и понял, что миссис Монро кое-что позволила себе в его отсутствие. Книги, которые он раскидал по полу, теперь

были сложены, пол выметен, но, в соответствии с его недвусмысленным наказом, ни с одной вещи пыль не сметалась. Все сильнее желая курить, он переложил тетради и открыл ящики, ища сигару или, на худой конец, сигарету. Поиск не принес плодов, он отдался избранной переписке и взял одно из многих писем, присланных господином Тамики Умэдзаки за несколько недель до того, как он отправился в свое заграничное путешествие:

Дорогой сэр, я премного рад тому, что мое приглашение серьезно Вас заинтересовало и Вы приняли решение быть моим гостем в Кобе. Само собою, мне не терпится показать Вам множество храмовых садов этой части Японии, а также...

Но и письмо не далось ему: как только он приступил к чтению, его веки сомкнулись и подбородок постепенно свесился на грудь. Во сне он не почувствовал, как письмо выпало из его пальцев, не услышал слабого хрипа, вырвавшегося из его горла. Очнувшись, он не вспомнил календулового поля, в котором стоял, не вспомнил и сна, вновь перенесшего его туда. Вздвогнув, когда Роджер внезапно согнулся над ним, он прочистил горло, глянул в обеспокоенное лицо мальчика и неуверенно проскрипел:

– Я спал?

Мальчик кивнул.

– Вот как... вот как...

– Ужин скоро будет подан.

– Да, ужин скоро будет подан, – пробормотал он, приготавливая трости.

Как и до этого, Роджер осторожно поддерживал его – помог встать с кресла, прильнул к нему у двери кабинета; мальчик проследовал с ним по коридору, вниз по лестнице, в столовую, где, наконец освободившись от легкой хватки Роджера, он сам пошел к большому викторианскому столу золотого дуба и единственной тарелке, поставленной для него миссис Монро.

– Когда я закончу, – не оборачиваясь, сказал Холмс мальчику, – я бы хотел обсудить с тобою дела пчельника. Я хочу, чтобы ты известил меня обо всем, что произошло там за время моего отсутствия. Я не сомневаюсь, что ты сможешь дать подробный и точный отчет.

– Думаю, что смогу, – ответил мальчик от двери, следя, как Холмс приставляет трости к столу, усаживаясь.

– Очень хорошо, – сказал в заключение Холмс, посмотрев через комнату туда, где стоял Роджер. – Встретимся в библиотеке через час. Разумеется, если запеканка твоей матушки не сведет меня в могилу.

– Хорошо, сэр.

Холмс взял сложенную салфетку, встряхнув, развернул ее и заткнул за воротник. Прямо сидя на стуле, он аккуратно, в ряд, разложил столовые принадлежности. После этого он выдохнул через нос, ровно положив руки по обе стороны пустой тарелки:

– Где эта женщина?

– Я иду, – сейчас же отозвалась миссис Монро. Она быстро появилась за спиной Роджера, держа в руках поднос, над которым поднимался пар ее стряпни. – Отойди-ка, сынок, – сказала она мальчику. – Так от тебя никому пользы нет.

– Прости.

Худенький Роджер чуть отодвинулся, давая ей пройти. И едва мать пронеслась мимо, спеша к столу, он медленно отступил на шаг назад – и еще на один, и еще, – пока не исчез из столовой. Торчать там он не собирался; иначе, он знал, мать может отослать его домой или уж наверняка заставит выполнять повинность по уборке кухни. Он осуществил свой

побег без лишнего шума, когда она подавала Холмсу ужин, успев ускользнуть, пока она не вышла из столовой и не позвала его.

Но мальчик не отправился на улицу, не побежал к пасеке, как могла бы предположить его мать, – не пошел он и в библиотеку готовиться к расспросам Холмса о пчельнике. Он прокрался обратно наверх и вошел в ту комнату, где дозволялось уединяться одному только Холмсу, – в кабинет. На самом деле, пока Холмс был за границей, Роджер проводил за исследованием кабинета долгие часы – поначалу он снимал с полок разные старые книги, пыльные монографии и научные журналы и внимательно читал их, сидя за столом. Утолив любопытство, он бережно возвращал их на полки, следя за тем, чтобы они хранили нетронутый вид. Иной раз он даже представлял себя Холмсом, откидывался в кресле, соединив кончики пальцев, смотрел в окно и вдыхал воображаемый дым.

Конечно, его мать не догадывалась об этих посягательствах, – узнай она о них, он был бы раз и навсегда изгнан из большого дома. И все же чем основательнее он осваивал кабинет (сперва с робостью, не вынимая рук из карманов), тем более дерзко себя вел – заглядывал в ящики стола, вытрясал письма из вскрытых конвертов, благоговейно брал в руки ручку, ножницы и увеличительное стекло, которыми постоянно пользовался Холмс. Впоследствии он стал перебирать кипы рукописных страниц на столе, заботясь не оставить на них никаких следов и в то же время пытаясь расшифровать записки Холмса и незавершенные отрывки; но из прочитанного мальчик понял мало – виной тому были невразумительные подчас каракули Холмса или сам предмет, невнятный и чересчур специальный. Все равно он прочел каждую страницу, стремясь узнать что-нибудь необычное или сокровенное о знаменитом человеке, который ныне властвовал над пасекой.

Правда, немного из найденного Роджером проливалось новый свет на личность Холмса. Его мир казался миром неопровержимых доказательств и неоспоримых фактов, содержательных наблюдений над внешними явлениями, и редкое его соображение относилось к нему самому. Впрочем, как-то раз мальчик наткнулся в кучах случайных записок и заметок на поистине занятную вещь, словно нарочно заваленную бумагами и запрятанную поглубже: пачку листов, стянутых резинкой, оказавшихся короткой неоконченной рукописью под заглавием «Стеклянная гармоника». В отличие от прочих писаний Холмса на его столе эта рукопись, как сразу заметил мальчик, создавалась с великим тщанием: слова легко читались, не было помарок, ничто не громоздилось на полях и не скрывалось под чернильными кляксами. Содержание увлекло его – оно было доступным и до некоторой степени личным, речь шла о прошлом Холмса. Но, к огорчению Роджера, рукопись обрывалась на второй главе, и развязка оставалась тайной. Тем не менее мальчик откапывал рукопись снова и снова и перечитывал в надежде отыскать что-то важное, что ранее пропустил.

И теперь, как в те недели, когда Холмса не было дома, Роджер, волнуясь, сел за стол и аккуратно извлек рукопись из упорядоченного беспорядка. Вскоре резинка была отложена, страницы помещены под свет настольной лампы. Он взялся за чтение с конца, быстро пробежал последние страницы, хотя и понимал, что у Холмса еще не было возможности продолжить рассказ. Потом он вернулся к началу, наклоняясь по мере чтения вперед, складывая прочитанные страницы одна на другую. Если собраться и не отвлекаться, думал Роджер, за вечер можно справиться с первой главой. Он вскинул голову, только когда его позвала мать; она была на улице, кричала ему из сада, искала его. Ее голос затих, и он склонился опять, напоминая себе, что времени у него немного – меньше чем через час его ждут в библиотеке; скоро рукопись нужно будет спрятать точно туда, где он ее впервые обнаружил. До этой минуты его указательный палец скользил по словам Холмса, голубые глаза помаргивали, но оставались сосредоточенными, губы беззвучно шевелились, а фразы вызвали в мыслях мальчика уже известные ему сцены.

Глава 3

«Стеклянная гармоника»

Пролог

Всякой ночью, если посторонний поднимется по крутой лестнице, ведущей сюда, в мансарду, он будет несколько мгновений блуждать во тьме и лишь затем достигнет закрытой двери моего кабинета. Но, как бы ни было темно, тусклый свет просочится из-под двери, как сейчас, и пришелец может замереть в задумчивости, спрашивая себя: какое же занятие держит человека на ногах сильно за полночь? Кто он такой – тот, кто бодрствует там, когда большинство его односельчан спят? Тронув же ручку двери, дабы его любопытство могло быть удовлетворено, он обнаружит, что дверь заперта и вход ему воспрещен. Если же, наконец, он приблизит к двери ухо, то, наверное, услышит негромкий скрип, означающий быстрое движение пера по бумаге, – одни слова еще высыхают, а вслед за ними уже возникают новые, отливая блеском наичернейших чернил.

Но, конечно, не секрет, что в нынешнюю пору моей жизни я не могу упомянуть всего, что было. И летописание моих былых свершений, имеющее, как видно, неистощимую привлекательность в глазах читающей публики, никогда не приносило мне радости. На протяжении тех лет, что Джон был расположен писать о наших многочисленных совместных приключениях, его искусные, хотя и не без упущений, очерки казались мне излишне художественными. Иногда я осуждал его потворство вкусам толпы и просил быть внимательнее к фактам и цифрам, в особенности когда мое имя стало отождествляться с его нередко поверхностными размышлениями. В ответ мой старый друг и биограф посоветовал мне написать свое.

– Если вам кажется, что я позволил себе повольничать с нашими расследованиями, – я помню, как он произнес это по крайней мере однажды, – предлагаю вам попробовать самому, Шерлок!

– Возможно, и попробую, – сказал ему я, – и, возможно, тогда вы прочтете достоверный рассказ, лишенный обычного авторского украшения.

– От всей души желаю удачи, – усмехнулся Джон, – она вам понадобится.

Но лишь с уходом от дел у меня появились время и охота в конце концов последовать его совету. Итоги, едва ли стоящие внимания, оказались все же поучительными для меня лично – хотя бы показав мне, что даже правдивая история должна быть изложена так, чтобы развлечь читателя. Сознывая непреложность этого правила, я отверг Джонову манеру, напечатав всего два рассказа, и в кратком письме, посланном добрейшему доктору вскоре после того, сердечно просил простить меня за насмешки, которым подвергал написанное им. Он ответил скоро и по существу:

Не нужно извинений, мой друг. Гонорары давным-давно оправдали Вас – и все еще оправдывают, невзирая на мои протесты. Д. Х. В.

Поскольку Джон вновь посетил мои мысли, я бы хотел воспользоваться случаем и обратиться к одному раздражающему меня обстоятельству. Мне сделалось известно, что моего бывшего помощника недавно выставили в неверном свете и сочинители пьес, и так называемые детективные романисты. Эти лица сомнительной репутации, чьи имена не заслуживают быть упомянутыми здесь, попытались изобразить его таким нескладным,

недалеким глупцом. Ничто не отстоит дальше от действительности. Самая мысль, что я обременил бы себя неумным спутником, может быть забавной в театральном представлении, но мне подобные намеки видятся грубым оскорблением в мой и Джона адрес. Не исключено, что некое ошибочное мнение о нем могло возникнуть из его писаний, так как он всегда щедро преувеличивал мои способности, говоря с чрезвычайной скромностью о своих собственных изрядных свойствах. Однако человек, с которым я работал, выказывал зоркую проницательность и природную изобретательность, бесценные для наших разысканий. Я не отрицаю его неумения порой сделать очевидный вывод или избрать наилучший ход действий, но ум редко изменял ему в том, что касается суждений и заключений. Вдобавок мне было отраднее проводить дни своей молодости в обществе того, кто умел разглядеть приключение за самым обыкновенным делом и с непременным юмором, спокойствием и преданностью снисходил до странностей своего зачастую нелегкого в общении друга. Словом, если знатоки всерьез задались целью выбрать глупейшего из нас, то не подлежит сомнению, что позором должен быть покрыт я, и никто иной.

В заключение следует отметить, что ностальгическое чувство, сохраняемое читающей публикой к моей квартире на Бейкер-стрит, во мне отсутствует. Меня уже не тянет в хитросплетение лондонских улиц, и я не скучаю по лабиринтам трущоб, населенных людьми с преступными наклонностями. Кроме того, моя жизнь здесь, в Сассексе, более не сводится к приятному безделью, и дни мои большей частью проходят либо в тиши кабинета, либо с работающими существами, населяющими мою пасеку. Я готов признать, что преклонные годы несколько уменьшили возможности моей памяти, но я по-прежнему вполне бодр и телом, и умом. Практически каждую неделю ранним вечером я совершаю прогулку к пляжу. Днем меня, как правило, можно видеть на тропинках моего сада, где я ухаживаю за травяными и цветочными клумбами. С недавних же пор я посвящаю себя важной задаче по исправлению последнего издания моего «Практического руководства по разведению пчел», чередуя это с наложением завершающих штрихов на «Все об искусстве расследования» в четырех томах. Это достаточно утомительный, многосложный труд, должный тем не менее оказаться по опубликовании ценнейшим компендиумом.

Однако я был вынужден отложить свою работу и в настоящее время пускаюсь в нелегкое предприятие по перенесению на бумагу прошлого – пока я не позабыл деталей одного дела, которое, по какой-то необъяснимой причине, нынче вечером пришло мне на ум. Может статься, что нижеследующие слова и описания иногда будут отличны от сказанного или увиденного на самом деле, поэтому я заранее прошу прощения за те вольности, что позволю себе для заполнения лакун и темных областей в моей памяти. Но, даже если вымысел отчасти и возьмет в рассказе о дальнейших событиях верх, я ручаюсь за то, что общий их ход – как и лица, причастные к этому делу, – будет отображен настолько точно, насколько это окажется в моих силах.

I

Дело миссис Энн Келлер с Фортис-Гроув

Мне вспоминается, что Томас Р. Келлер, сутулый, узкоплечий, хорошо одетый молодой человек, нанес мне визит весной 1902 года, через месяц после исторического полета Роберта Фолкона Скотта на аэростате над Антарктидой. Добрейший доктор тогда еще не перебрался в свои комнаты на Куинн-Энн-стрит, но, когда этот визит состоялся, он пребывал в отпуске и нежился на берегу моря вместе с женщиной, которая вскоре должна была стать третьей миссис Ватсон. Впервые за много месяцев наша квартира на Бейкер-стрит принадлежала

мне одному. По своему обыкновению, я сел спиной к окну и предложил посетителю кресло напротив – оттуда он смутно видел мое лицо из-за яркого света с улицы, сам будучи отменно освещен. Сначала мистер Келлер слегка робел в моем присутствии и не мог подобрать нужных слов. Я не предпринял усилий, чтобы облегчить его неудобство, но, наоборот, воспользовался неловким молчанием для того, чтобы приглядеться к нему получше. Я полагаю, что мне всегда выгодно заставить клиента ощутить свою уязвимость, и, сделав некоторые выводы о причинах его визита, я поспешил усилить его смущение.

– Я вижу, вы сильно взволнованы из-за вашей жены.

– Это так, сэр, – ответил он, видимо пораженный.

– При этом она, по преимуществу, заботлива к вам. Из чего я заключаю, что речь идет не о ее верности.

– Мистер Холмс, откуда вы это знаете?

Его прищуренные глаза смотрели с недоумением; он пытался меня разгадать. Пока мой клиент дожидался ответа, я закурил одну из Джоновых отличных сигарет от Брэдли, в немалом количестве похищенных мною из его тайника в верхнем ящике стола. Затем, довольно раздразив молодого человека, я неспешно выпустил дым в солнечные лучи и разъяснил то, что мне было совершенно ясно.

– Когда джентльмен входит в мою комнату явно встревоженный и рассеянно вертит на пальце обручальное кольцо, усаживаясь передо мною, нетрудно представить себе природу его беспокойства. На вас новая и модно скроенная одежда, но сшита она неумело. Вы, натурально, отметили незначительную разницу в длине ваших манжет, а может быть, также темно-коричневую нитку в подшивке левой штанины и черную – в правой. Но заметили ли вы среднюю пуговицу на вашей сорочке – цветом и формой очень похожую на остальные, но чуть уступающую им в размере? Все это указывает на то, что ваша жена постаралась для вас и ей достало усердия сделать все возможное, даже не располагая необходимыми средствами. Как я сказал, она заботлива. Почему я думаю, что это работа вашей жены? Ну, вы молодой человек со средним достатком, явно женатый, и ваша визитная карточка уже поставила меня в известность о том, что служите вы младшим бухгалтером в «Трокмортон и Финли». Нечасто встретишь начинающего бухгалтера с горничной и экономкой, не так ли?

– От вас ничто не укроется, сэр.

– Уверяю вас, в моем подчинении нет никаких невидимых сил, но я научился обращать внимание на очевидные вещи. Как бы то ни было, мистер Келлер, вы пришли ко мне сегодня не затем, чтобы оценивать мои дарования. Что произошло во вторник и привело вас сюда из вашего дома на Фортис-Гроув?

– Это невероятно, – воскликнул он, и вновь его осунувшееся лицо выразило удивление.

– Мой друг, успокойтесь. Вы сами отправили мне письмо с обратным адресом, которое оказалось у моей двери вчера, в среду, тогда как ваша же собственная рука пометила его вторником. Понятно, что письмо писалось поздним вечером; в противном случае вы бы послали его в тот же день. Так как вы просили о безотлагательной встрече сегодня – в четверг, – можно допустить, что днем или вечером во вторник, скорее всего, произошло нечто тревожное и требующее срочного вмешательства.

– Да, я написал письмо во вторник вечером, после решительного разговора с мадам Ширмер. Она не только упорно вмешивается в мою семейную жизнь, но и пригрозила мне арестом...

– Неужели арестом?

– Да, таковы были ее последние сказанные мне слова. Она производит довольно сильное впечатление, эта мадам Ширмер. Ее называют одаренной музыкантшей и прекрасным

учителем, но ведет она себя устрашающим образом. Я бы сам позвал констебля, если бы дело не касалось моей дорогой Энн.

– Энн – это ваша жена, как я понимаю.

– Именно так.

Молодой человек извлек из жилетного кармана кабинетную фотографию и предложил ее моему рассмотрению.

– Это она, мистер Холмс.

Я наклонился вперед в кресле. Бросив на фотографию быстрый внимательный взгляд, я увидел женщину лет двадцати трех: вздернутая бровь, натянутая полуулыбка. И при этом строгое выражение лица, отчего она казалась старше.

– Благодарю вас, – сказал я, поднимая глаза. – Она обладает самыми исключительными качествами. Теперь, пожалуйста, расскажите с самого начала все, что я должен знать об отношениях вашей жены с этой мадам Ширмер.

Мистер Келлер горестно сморщился.

– Я расскажу, что знаю, – сказал он, пряча фотографию в карман, – и надеюсь, что вы сумеете найти в этом смысл. Видите ли, со вторника у меня в голове путаница. Я плохо спал эти две ночи, поэтому прошу вас проявить терпение, если мои слова покажутся вам неясными.

– Я постараюсь быть как можно терпеливее.

Он поступил мудро, предупредив меня: если бы я не знал заранее, что повесть моего клиента будет в основном рассказана бессвязно и непоследовательно, боюсь, я бы с досадой прервал его. Итак, я приготовился – откинулся в кресле, соединил кончики пальцев и уставился в потолок, дабы выслушать его с величайшим вниманием.

– Начинайте.

Он глубоко вдохнул, прежде чем заговорить.

– Мы с моей супругой Энн женаты немногим более двух лет. Она единственная дочь покойного полковника Бэйна, его не стало, когда она была еще совсем дитя, он погиб в Афганистане во время восстания Аюб-хана, и она воспитывалась у матери в Ист-Хэме, где мы и познакомились детьми. Невозможно вообразить девочки очаровательнее, мистер Холмс. Она пленила меня уже тогда, и со временем мы полюбили друг друга той любовью, что зиждется на дружбе, взаимной поддержке и желании жить одной жизнью. Конечно, мы поженились и по прошествии недолгого срока въехали в дом на Фортис-Гроув. Некоторое время казалось, что ничто не нарушит гармонии в нашем маленьком жилище. Я не преувеличу, сказав, что союз наш был совершенный, счастливый союз. Разумеется, не обходилось и без горестей вроде затяжной неизлечимой болезни моего отца и внезапной кончины матери Энн, но мы были вместе, а это совсем другое дело. Еще счастливее мы стали, узнав о том, что Энн беременна. Шестью месяцами позже у нее случился выкидыш. Пять месяцев спустя она забеременела снова, но вскоре опять был выкидыш. Во второй раз произошло обильное кровотечение, едва не отнявшее ее у меня. В больнице доктор сказал, что она, вероятно, не может иметь детей и что дальнейшие попытки родить, скорее всего, убьют ее. После этого она начала меняться. Эти выкидыши удручали ее и владели ее мыслями, доводя до одержимости. Дома она сделалась угрюмой, мистер Холмс, подавленной и равнодушной ко всему и сказала мне, что потеря наших детей нанесла ей самую страшную рану.

Спасение от ее недомогания я увидел в благотворном действии какого-нибудь увлечения. Как для рассудка, так и для души, подумал я, ей нужно заняться чем-нибудь, что заполнило бы пустоту, которая образовалась в ее жизни и, по моим наблюдениям, все ширилась. Среди вещей моего недавно скончавшегося отца я обнаружил старинную стеклянную гармонiku. Ее подарил двоюродный дедушка, который, как утверждал отец, купил инструмент у Этьена Гаспара Робертсона, известного бельгийского изобретателя. В общем, я доставил

гармонику Энн, и та с большой неохотой согласилась испробовать ее. В нашей мансарде вполне просторно и уютно – прежде мы подумывали устроить там детскую, – и она очень подходит для маленькой музыкальной комнаты. Я даже отшлифовал и отполировал корпус гармоники, заменил старую ось, чтобы стаканы держались надежнее, и исправил давно поврежденную педаль. Но тот малый интерес к инструменту, что Энн вызвала в себе, иссяк чуть ли не сразу же. Ей не нравилось быть одной в мансарде, и ей было трудно извлекать из гармоники музыку. Еще ее смущали причудливые созвучия, производимые скольжением ее пальцев по краям стеклянных стаканов. От них, объяснила она, ей становилось совсем грустно.

Но этого я принять не мог. Понимаете, я полагал, что достоинство гармоники – как раз в ее звучании и что по красоте оно оставляет далеко позади звучание любого другого музыкального инструмента. Если играть умеючи, громкость можно с легкостью увеличивать или уменьшать простым нажатием пальцев, и дивные звуки могут длиться как угодно долго. Нет, этого я от Энн не мог принять, и я знал, что, если она услышит игру другого человека – обладающего хорошей выучкой, – ее отношение к «стеклянным» звукам может измениться. Тогда же один мой приятель припомнил, что как-то был на приватном исполнении «Адажио и рондо для стеклянной гармоники, флейты, гобоя, виолончели и альта» Моцарта, но он мог с точностью сказать лишь, что действо происходило в маленькой квартире над книжным магазином на Монтегю-стрит, где-то поблизости от Британского музея. Ясное дело, мне не понадобился детектив, чтобы разыскать это место, и, легко прогулявшись, я очутился в помещении «Книгоиздателей и картографов» Портмана. Владелец указал мне лестницу, которая вела к той самой квартире, где мой друг слушал стеклянную гармонику. Потом я жалел, что поднялся по этой лестнице, мистер Холмс. Но в ту минуту я сгорал от желания увидеть, кто откроет мне дверь, в которую я постучал.

Вид мистера Томаса Р. Келлера соблазнял припугнуть его смеха ради. Он держался робко, по-детски, и в его спотыкающейся, мягкой речи слышалась шепелявость.

– Тут, надо полагать, и появляется ваша мадам Ширмер, – сказал я, закуривая еще одну сигарету.

– Верно. Она сама открыла дверь – очень коренастая, мужеподобная женщина, при всем при том не дородная, – и, хотя она немка, мое первое впечатление было достаточно благоприятным. Не спросив о моем деле, она пригласила меня войти. Она усадила меня в гостиной и угостила чаем. Скорее всего, она предположила, что я пришел к ней учиться музыке – комната была забита всяческими инструментами, включая две красивые, в прекрасном состоянии, гармоники. Я понял, что обратился по адресу – меня обворожила любезность мадам Ширмер, ее несомненная любовь к гармонике – и сообщил причины, приведшие меня к ней: я рассказал о своей жене, о трагедии с выкидышами, о том, как доставил домой гармонику, чтобы облегчить страдания Энн, о том, что очарование стаканов ускользнуло от нее, и так далее. Мадам Ширмер терпеливо выслушала меня и, когда я кончил, посоветовала привести Энн к ней для занятий. Я не мог быть доволен более, мистер Холмс. Я уповал лишь на то, что Энн послушает хорошую игру на гармонике, так что это предложение превзошло мои надежды. Для начала мы договорились о десяти уроках – дважды в неделю, по вторникам и четвергам, в полдень, деньги вперед, – и мадам Ширмер назначила пониженную плату ввиду того, что, как она сказала, у моей жены особое положение. Это было в пятницу. Во вторник Энн должна была приступить к занятиям.

Монтегю-стрит не слишком далеко от моего дома. Я не стал брать кеб, решив пройтись пешком и сообщить Энн добрые вести. Но все завершилось легкой размолвкой, и я бы отменил уроки в тот же день, если бы не уверенность, что они помогут ей. Когда я пришел, дома было тихо и шторы были опущены. Позвав Энн, я не услышал ответа. Поискав на кухне и в спальне, я пошел в кабинет – и обнаружил ее там, одетую в черное, словно в трауре,

недвижно сидящую спиной к двери, праздно глядящую на книжный шкаф. В комнате стояли глубокие сумерки, она казалась тенью; я позвал ее по имени – она не обернулась. Я испугался, мистер Холмс, что ее психическое состояние стремительно ухудшается.

– Ты уже дома, – устало сказала она. – Я не ждала тебя так рано, Томас.

Я объяснил, что сегодня ушел раньше обычного, потому что у меня были дела. Затем я сказал, куда ходил, и оповестил ее об уроках гармоники.

– Но тебе не следовало решать за меня. Конечно, ты не спросил меня, хочу ли я брать эти уроки.

– Я подумал, что ты не будешь возражать. Они пойдут тебе только на пользу, я не сомневаюсь. Все лучше, чем сидеть вот так взаперти.

– Я вижу, выбора у меня нет. – Она посмотрела на меня, в темноте я едва мог разглядеть ее лицо. – Разве мое мнение тут ничего не значит?

– Разумеется, значит, Энн. Как я могу принуждать тебя делать что-то, чего ты делать не желаешь? Но ты хотя бы сходишь на одно занятие послушать игру мадам Ширмер? Если тебе не захочется продолжать, я не буду настаивать.

Эта просьба заставила ее умолкнуть. Она медленно повернулась ко мне и, склонив голову, уставилась в пол. Наконец она подняла глаза, и я заметил в них унылое выражение загнанности, готовность, не споря, согласиться на все вопреки своим подлинным чувствам.

– Хорошо, Томас, – сказала она, – если ты хочешь, чтобы я пошла на занятие, противиться я не стану, но надеюсь, ты не будешь ждать от меня многого. Все-таки этот инструмент нравится тебе, а не мне.

– Я люблю тебя, Энн, и хочу снова сделать тебя счастливой. Уж мы с тобою этого заслуживаем.

– Да, да, я знаю. В последнее время я ужасно докучаю тебе. Но я должна сказать, что больше не верю в какое-то счастье для себя. Подозреваю, у каждого человека есть внутренняя жизнь, со своими каверзами, и ее, как ни пытайся, нельзя описать словами. Я прошу одного – будь терпим ко мне и дай мне лучше себя понять. Но я схожу на одно занятие, Томас, и дай бог, чтобы это доставило мне столько же радости, сколько, я уверена, доставит тебе.

К счастью – а точнее, к несчастью, – я оказался прав, мистер Холмс. После первого же занятия с мадам Ширмер моя жена стала смотреть на гармонику другими глазами. Я ликовал оттого, что инструмент вдруг обрел ее расположение. Казалось даже, что к третьему или четвертому уроку Энн волшебным образом переменялась. Исчезла ее болезненность, исчезла и апатия, часто не дававшая ей встать с постели. Я признаю: в те дни мадам Ширмер представлялась мне настоящей находкой, и мое почтение к ней не знало пределов. Поэтому несколько месяцев спустя, когда моя жена спросила, нельзя ли ей заниматься по два часа вместо одного, я согласился без колебаний – тем паче что она добилась огромных успехов в игре. И я радовался долгим часам – днем, вечером, иногда весь день напролет, – которые она посвящала овладению различными созвучиями гармоники. Она не только выучила «Мелодраму» Бетховена, но и развила беспримерное умение импровизировать. При этом ее экспромты были самой необычной и меланхолической музыкой, какую мне доводилось слышать. Их наполняла печаль, которая во время ее одиноких упражнений в мансарде распространилась по всему дому.

– Все это по-своему очень интересно, – вставил я, прерывая его рассказ, – но посмею слегка поторопить вас: каковы, собственно, причины вашего ко мне обращения?

Я видел, что мой клиент обескуражен резкостью, с которой я оборвал его. Я выразительно поглядел на него и приготовился, опустив веки и вновь сведя пальцы, выслушать относящиеся к делу факты.

– Если позволите, – запинаясь, произнес он, – я как раз подходил к ним, сэр. Как я говорил, после начала занятий с мадам Ширмер душевное состояние моей жены улучшилось –

так мне, во всяком случае, показалось. Но я стал замечать в ней какую-то отрешенность, рассеянность, что ли, и неспособность поддержать сколько-нибудь длительную беседу. Одним словом, я скоро понял, что, хотя выглядит Энн хорошо, с нею все еще что-то не так. Я думал, ее внимание поглощено гармоникой, и надеялся, что рано или поздно она придет в себя. Но этому не суждено было произойти.

Сперва я отмечал всякие мелочи – немытую посуду, недоваренную или пригоревшую еду, неубранную постель. Затем Энн начала проводить в мансарде большую часть своего времени. Нередко я просыпался от доносившихся сверху звуков гармоник, и они же встречали меня по возвращении со службы. Тогда я и возненавидел музыку, которая раньше доставляла мне удовольствие. Потом настали дни, когда – если не считать наших совместных трапез – я почти не видел ее, она ложилась в нашу постель, когда я уже спал, и покидала ее с рассветом, до моего пробуждения, – но я постоянно слышал эту музыку, эти заунывные нескончаемые звуки. Они лишали меня рассудка, мистер Холмс. По существу, увлечение превратилось в нездоровую страсть, и в этом я виню мадам Ширмер.

– Почему ответственность должна ложиться на нее? – спросил я. – Она явно не причастна к вашим семейным неурядицам. Она все же только учительница музыки.

– Нет-нет, не только, сэр. Я боюсь, что она – женщина опасных убеждений.

– Опасных убеждений?

– Да. Они опасны для тех, кто отчаянно ищет надежды и подвержен вздорным вымыслам.

– И ваша жена относится к этой категории людей?

– К сожалению, относится, мистер Холмс. Энн всегда была чрезмерно восприимчивой, доверчивой женщиной. Как будто бы она родилась чувствовать и переживать острее других. В этом ее великая сила и великая слабость; распознав в ней это тонкое свойство, человек с дурными намерениями может легко им воспользоваться, что и сделала мадам Ширмер. Конечно, я долго не признавал этого – до последних дней я был, по сути, слеп.

Видите ли, был ничем не примечательный вечер. По обыкновению, мы с Энн мирно ужинали; едва притронувшись к еде, она поднялась из-за стола и пошла играть в мансарду – это тоже стало обыкновенным явлением. Но потом произошло кое-что еще. В этот день – в подарок за преодоление некоторых трудностей, связанных с банковским счетом, – один из моих клиентов прислал мне в контору дорогую бутылку вина кометы². За ужином я думал удивить им Энн, но, как я сказал, она быстро ушла из-за стола, и я не успел сходить за бутылкой. Я решил отнести вино к ней. С бутылкой и двумя бокалами в руках я поднялся по лестнице в мансарду. К тому времени она уже начала играть, и звуки гармоник – необычайно низкие, монотонные и долгие – проникали внутрь меня.

Когда я приблизился к чердачной двери, бокалы, которые я нес, задрожали и ушам стало больно. При этом я все слышал. Она не исполняла музыкальное произведение и не предавалась опытам с инструментом. Нет, то был продуманный ритуал, сэр, какое-то нечестивое заклинание. Я говорю *заклинание* из-за того, что услышал вслед за этим: голос моей жены, почти такой же низкий, как музыка, которую она играла.

– Надо ли понимать, что услышанное вами не было пением?

– Молю Бога, чтобы было, мистер Холмс. Но я могу вас заверить – она разговаривала. Я не разобрал большей части ее слов, но услышанного оказалось достаточно – я ужаснулся.

«Я тут, Джеймс, – сказала она. – Грейс, иди ко мне. Я тут. Где вы прячетесь? Я хочу увидеть вас снова...»

Я поднял руку, заставив его замолчать.

² Вино кометы – так называют вино обильного урожая 1811 года, когда появилась необыкновенной яркости комета.

– Мистер Келлер, честное слово, мое терпение имеет пределы и на большее его не хватит. Пытаясь добавить красок в свое повествование, вы неоднократно сбивались, откладывая рассказ о том затруднении, которое вам бы хотелось разрешить. Если возможно, прошу вас ограничиться существенными деталями, так как они одни будут мне полезны.

Мой клиент помолчал несколько секунд, нахмурившись и пряча глаза.

– Если бы у нас родился мальчик, – наконец сказал он, – его бы звали Джеймс, а если была бы девочка – то Грейс.

Охваченный волнением, он умолк.

– Это лишнее, – сказал я. – Сейчас нет необходимости в демонстрации переживаний. Пожалуйста, продолжайте с того места, где остановились.

Он кивнул и плотно сжал губы. Затем он провел носовым платком над бровью и опустил взгляд.

– Поставив бутылку и бокалы на пол, я распахнул дверь. Испугавшись, она в тот же миг оборвала игру и посмотрела на меня широко раскрытыми, потемневшими глазами. Горели свечи, заключившие гармонику в круг и погрузившие ее в мерцающее свечение. В этом свете, смертельно бледная, она походила на привидение. В ней было нечто потустороннее, мистер Холмс. Но не одни свечи порождали это ощущение. Ее глаза! В том, как она смотрела на меня, словно отсутствовало что-то важное, что-то человеческое. Даже когда она заговорила со мною, ее голос был глух и бесчувствен.

– Что случилось, милый? – спросила она. – Ты напугал меня.

Я двинулся к ней.

– Зачем ты это делаешь? – закричал я. – Зачем ты говоришь с ними, словно они здесь?

Она медленно встала из-за гармоники, и, подойдя к ней, я увидел слабую улыбку на ее белом лице.

– Все хорошо. Томас, теперь все хорошо.

– Я не понимаю, – сказал я. – Ты называла наших мертвых детей по именам. Ты говорила так, как будто бы они живы и находятся в этой самой комнате. Что это означает, Энн? Как давно это началось?

Она ласково взяла меня за руку и повела прочь от гармоники.

– Когда я играю, я должна быть одна. Пожалуйста, считайся с этим.

Она влекла меня к двери, но мне были нужны ответы.

– Постой, – сказал я. – Я не уйду, пока ты не объяснишься. Как давно это началось? Я настаиваю. Зачем ты это делаешь? Мадам Ширмер известно, чем ты занимаешься?

Она не могла смотреть мне в глаза. У нее был вид человека, попавшегося на страшной лжи. И с ее губ сорвался неожиданный и холодный ответ.

– Да, – сказала она. – Мадам Ширмер известно, что я делаю. Она помогает мне, Томас, – ты сам все для этого устроил. Доброй ночи, милый.

После этих слов она захлопнула дверь и заперлась изнутри.

Я был взбешен, мистер Холмс. Как вы понимаете, я сошел вниз в возбужденном состоянии. Слова моей жены, сколь бы туманны они ни были, привели меня к одному-единственному заключению: не музыке обучала ее мадам Ширмер, и, в любом случае, она побуждала Энн отправлять этот противоестественный обряд в мансарде. Положение непростое, особенно если мои допущения были верны, но я понимал, что правду узнаю лишь от самой мадам Ширмер. Я намеревался в тот же вечер пойти к ней на квартиру и поговорить обо всем. Но, успокаивая нервы, я выпил вина – куда больше, чем следовало, почти всю бутылку. Поэтому я не мог явиться к ней ранее следующего утра. Но, когда я пришел к ней, мистер Холмс, не было человека трезвее и решительнее меня. Мадам Ширмер едва открыла дверь, как я выложил ей все, что было у меня на душе.

– Какому вздору вы учите мою жену? – потребовал я ответа. – Я хочу, чтобы вы толковали мне, зачем она разговаривает с нашими нерожденными детьми, – и не притворяйтесь, будто ничего не знаете, потому что Энн рассказала мне довольно.

Повисло тягостное молчание, и она помедлила, прежде чем заговорить. Затем она пригласила меня войти, и мы сели в гостиной.

– Ваша жена, герр Келлер, это есть измученная, несчастная женщина, – сказала она. – Эти уроки, которые она берет у меня, они не очень ее интересуют. Она всегда думает о детях – несмотря ни на что, только о детях, и в детях все дело, нет? Но, конечно, вам нужно, чтобы она играла, а ей нужны дети, и я делаю кое-что для вас обоих, правильно? И теперь она играет очень красиво. Я думаю, она стала счастливее, а вы?

– Не пойму. Что такого вы сделали для нас обоих?

– Ничего слишком сложного, герр Келлер. Дело, понимаете ли, в природе стаканов – в отзвуках божественной гармонии, – я учу ее этому.

Вы не представляете, какую бессмыслицу она понесла после этого.

– Хорошо представляю, – сказал я. – Мистер Келлер, мне в общих чертах известна необычная история этого инструмента. Когда-то с ним связывали некоторые тревожные происшествия. Это вызвало в Европе панику и повлекло за собою упадок популярности гармоники. Поэтому увидеть ее – не говоря о том, чтобы услышать, – случается весьма редко.

– Какие тревожные происшествия?

– Всякие, от нервного расстройства до мучительной угнетенности, также – семейные ссоры, преждевременные роды и ряд смертельных случаев, даже судороги у домашних животных. Без сомнения, ваша мадам Ширмер знакома с полицейским распоряжением, некогда принятым в ряде немецких земель, которое запрещало этот инструмент в целях сохранения общественного порядка и здоровья. Само собою, поскольку меланхолия у вашей жены началась до того, как она стала на нем играть, мы можем не рассматривать гармонику в качестве источника ее бед.

Но у истории гармоники есть еще одна сторона, на которую и намекала мадам Ширмер, говоря об «отзвуках божественной гармонии». Кое-кто из тех, кто разделяет идеалистические воззрения таких людей, как Франц Месмер, Бенджамин Франклин и Моцарт, думает, что «стеклянная» музыка поселяет в человеке гармонию. Другие горячо верят, что она может исцелять болезни крови, а третьи – и я подозреваю, что к ним принадлежит мадам Ширмер, – полагают, будто ее резкие, пронизывающие звуки беспрепятственно попадают из этого мира в мир иной. Они придерживаются мнения, что богато одаренный музыкант легко может призвать мертвых и живым доведется вступить в общение с дорогими им покойниками. Она сказала вам именно это, правда?

– Да, правда, – с удивленным видом ответил мой клиент.

– И тогда вы отказались от ее услуг.

– Да, но как...

– Милый юноша, это ведь было неизбежно, не так ли? Вы считали ее ответственной за оккультные действия вашей жены, так что соответствующий умысел был у вас еще тогда, когда вы шли к ней утром. Во всяком случае, не расторгни вы вашу договоренность, она наверняка не угрожала бы вам арестом. Теперь прошу простить меня за то, что я вас перебиваю. Я делаю это затем, чтобы поскорее разделаться с предметами, в подробном изложении которых мне многое может показаться излишним. Продолжайте.

– Что, спрошу я вас, мне оставалось? У меня не было выбора. Думая, что поступаю по справедливости, я не потребовал обратно денег за несостоявшиеся уроки, а она не предложила их вернуть. И все-таки ее самообладание меня потрясло. Когда я сказал, что нужды в ее услугах больше нет, она улыбнулась и кивнула в знак согласия.

– Мой дорогой сэр, если вы думаете, что так лучше для Энн, – сказала она, – то я тоже думаю, что так лучше для Энн. Вы же ее муж. Желаю вам долгой и счастливой жизни вместе.

Нельзя было верить тому, что она говорит. Я убежден, что, когда тем утром я уходил от нее, она уже хорошо понимала, что Энн находится под ее влиянием и не сможет так просто из-под него выйти. Сейчас я вижу, что она мошенница самого худшего разбора. Позже это сделалось мне совершенно ясно: сначала она понизила плату, а потом, увлекши бедную Энн своими глупостями, предложила продлить время уроков, чтобы вытянуть побольше денег из моего кармана. Также я опасаюсь, что у нее есть виды на наследство, оставленное Энн ее матерью, – не великую, но существенную сумму. Я не сомневаюсь в этом, мистер Холмс.

– Тогда вам это в голову не пришло? – спросил я.

– Нет, – ответил он. – Я думал только о том, как Энн встретит новость. Я провел нелегкий день на работе, размышляя над создавшимся положением и подыскивая нужные слова. Вернувшись вечером домой, я пригласил Энн в свой кабинет, она села против меня, и я спокойно рассказал ей все. Я указал на то, что с некоторых пор она пренебрегает своими обязанностями по дому и что ее одержимость гармоникой – тогда я впервые назвал это так – омрачает наш брак. Я сказал, что у нас есть определенные обязательства друг перед другом: я должен обеспечить ей надежный и прочный быт, она – вести хозяйство. Еще я сказал, что меня глубоко обеспокоило увиденное на чердаке, но я не виню ее за скорбь по нашим детям. Затем я перешел к своему визиту к мадам Ширмер. Я сказал, что занятий больше не будет и мадам Ширмер согласилась, что это к лучшему. Я взял ее руку и посмотрел ей прямо в лицо, не выражавшее никаких чувств.

– Тебе впредь воспрещается встречаться с этой женщиной, Энн, – сказал я, – и завтра я уберу гармонику из дома. Я не хочу быть жестоким или неразумным, но я хочу вернуть себе жену. Я хочу вернуть тебя, Энн. Я хочу, чтобы мы стали такими, как раньше. Нам надо возвратить порядок в нашу жизнь.

Она заплакала, но то были слезы сожаления, не злобы. Я опустился на колени рядом с ней.

– Прости меня, – сказал я и обнял ее.

– Нет, – прошептала она мне на ухо, – это мне нужно просить прощения. Я так запуталась. Мне кажется, что я уже никогда не смогу поступать правильно, и не знаю отчего.

– Не поддавайся этому, Энн. Если ты будешь верить мне, то убедишься – все хорошо.

Тогда она пообещала, мистер Холмс, что постарается быть мне лучшей женой. И казалось, что она сдержит слово. По правде говоря, я прежде не видел, чтобы она так стремительно менялась. Конечно, порою я догадывался, что внутри нее неслышно бушуют бури. Изредка она мрачнела, словно задумавшись о чем-то гнетущем, и, по крайней мере в течение какого-то времени, уделяла несообразно много внимания уборке в мансарде. Но гармоники уже не было, и я не насторожился. Да и с чего бы? Все по дому бывало сделано к моему возвращению со службы. После ужина мы, как в лучшие дни, наслаждались обществом друг друга, часами просиживая за беседой в гостиной. Счастье будто бы снова пришло в наш дом.

– Рад за вас, – тепло сказал я, закуривая третью сигарету. – И все же не могу уразуметь, почему вы решили посоветоваться со мною. В известном отношении это, безусловно, занимательная история. Но вы встревожены чем-то другим, и я не понимаю чем. Вы, на мой взгляд, вполне способны справиться со своими трудностями.

– Прошу вас, мистер Холмс, мне нужна ваша помощь.

– Я не могу помочь вам, не зная истинной природы вашего дела. Пока я не вижу в нем ничего загадочного.

– Но моя жена по-прежнему уходит!

– По-прежнему уходит? Надо ли заключить, что она по-прежнему приходит обратно?

– Да.

– Как часто это случалось?

– Пять раз.

– И когда она начала исчезать?

– Две недели назад.

– Ясно. Более чем вероятно, во вторник. В четверг это случилось снова. Поправьте меня, если я не прав, но на следующей неделе все было так же, и, разумеется, в этот вторник произошло то же самое.

– Точно так.

– Чудесно. Это уже другой разговор, мистер Келлер. Понятно, что ваша история ведет к двери мадам Ширмер, но все равно расскажите мне об этом. Может быть, я нападу еще на одну-две нужные детали. Будьте милостивы начать с первого исчезновения, хотя и неверно называть проявление ослушания этим словом.

Мистер Келлер с грустью посмотрел на меня. Затем взглянул в окно, сокрушенно покачивая головой.

– Я слишком много думал об этом, – поведал он. – Понимаете, день у меня обычно очень занят, и обед мне приносит посыльный. Но в тот раз работы было поменьше, и я пошел домой пообедать с Энн. Обнаружив ее отсутствие, я не придавал этому особого значения. Я сам призывал ее регулярно гулять, и, следуя моему совету, она стала совершать дневной моцион. Я подумал, что она ушла на прогулку, написал ей записку и вернулся в контору.

– И куда эти прогулки заводили ее?

– К мяснику или на рынок. Еще она полюбила парк при Физико-ботаническом обществе и, по ее словам, проводила там целые часы, читая среди цветов.

– И впрямь, это самое подходящее место для такого рода досуга. Продолжайте ваш рассказ.

– Вечером я пришел домой, и ее еще не было. Записка оставалась на двери, и признаков того, что Энн возвращалась, не имелось. Я разволновался. Первой моей мыслью было отправиться на ее поиски, но не успел я выйти из дома, как Энн вошла в калитку. Какая же она была усталая, мистер Холмс, и, увидев меня, она, кажется, смутилась. Я спросил, почему она так поздно, и она ответила, что заснула в парке Физико-ботанического общества. Это было неправдоподобно, но едва ли невозможно, и я удержался от дальнейших расспросов. По чести говоря, я просто почувствовал облегчение оттого, что она дома.

Но через два дня это случилось вновь. Я пришел домой, а Энн не было. Вскоре она появилась и объяснила, что снова задремала под деревом в парке. На другой неделе все повторилось – опять во вторник и в четверг. Будь то другие дни, у меня не зародилось бы подозрений так быстро и я бы не стремился проверить свои догадки. Зная, что ее занятия начинались в четыре и заканчивались в шесть, я рано ушел со службы и занял неприметную наблюдательную позицию на улице напротив магазина Портмана. В четверть пятого на меня снизошло что-то вроде успокоения, но, готовясь уйти, я увидел ее. Как ни в чем не бывало она шла по Монтегю-стрит – по другой ее стороне, – высоко подняв солнечный зонтик, который я подарил ей на день рождения. В эту минуту мое сердце оборвалось, и я застыл, не пошел за ней, не окликнул ее, только смотрел, как она складывает зонтик и входит в магазин Портмана.

– Обычно ли для вашей жены являться на условленную встречу с опозданием?

– Отнюдь нет, мистер Холмс. Она считает, что точность – это добродетель, то есть считала до некоторых пор.

– Понятно. Прошу вас, дальше.

– Вы можете представить, какое во мне вскипело возмущение. Мгновение спустя я взбежал по лестнице к квартире мадам Ширмер. Я уже слышал, как Энн играет на гармонике

свои страшные, тяжкие мелодии; самое их звучание распалило мой гнев, и со всей яростью я ударил в дверь.

– Энн! – закричал я. – Энн!

Но встретила меня не моя жена. Это была мадам Ширмер. Она открыла дверь и вперила в меня самый злобный взгляд, какой мне доводилось встречать.

– Я хочу видеть мою жену, немедленно! – возгласил я. – Я знаю, что она здесь!

Тут же музыка перестала доноситься из глубины квартиры.

– Идите домой и там увидите свою жену, герр Келлер! – негромко сказала она, ступая вперед и закрывая за собою дверь. – Энн уже не учится у меня! – Она держалась за ручку двери и загораживала своим массивным телом проход, дабы я не мог прорваться в квартиру.

– Вы обманули меня, – сказал я достаточно громко, чтобы Энн могла услышать. – Вы обе меня обманули, и я этого не спущу! Вы подлая и порочная особа!

Мадам Ширмер рассвирепела, да и я так рассердился, что язык у меня заплетался, как у пьяного. Оглядываясь теперь назад, я понимаю, что мое поведение не отвечало здравому смыслу, пусть эта кошмарная женщина и предала меня, пусть я и боялся за свою жену.

– Я только даю уроки, – сказала она, – но вы делаете это трудным для меня. Вы пьяный человек, и вы подумаете об этом завтра и будете злы на себя! Я больше не буду говорить с вами, герр Келлер, поэтому никогда не стучите так в мою дверь опять!

Тут мое негодование вырвалось наружу, мистер Холмс, и боюсь, я повысил голос сильнее, чем было бы разумно.

– Я знаю, что она приходит сюда, и я убежден, что вы продолжаете кружить ей голову своими сатанинскими идеями! Я понятия не имею, чего вы рассчитываете этим добиться, но если вы ищете ее наследства, то могу вас заверить: я сделаю все, что под силу человеку, дабы вам не удалось даже притронуться к нему! Разрешите предостеречь вас, мадам Ширмер: пока моя жена не окажется свободна от вашего влияния, я буду препятствовать каждому вашему шагу и не позволю дальше дурачить себя!

Рука ее соскользнула с дверной ручки, пальцы сжались в кулак, казалось, она вот-вот ударит меня. Как я уже сказал, это крупная, дюжая немка, и я не сомневаюсь, что она с легкостью одолеет среднего мужчину. Однако она погасила свой воинственный пыл и сказала:

– Теперь я предупреждаю вас. Уходите и никогда больше не приходите. Если вы сделаете беспорядок еще раз, я могу подвести вас под арест! – Затем она развернулась на каблуках и вошла в квартиру, захлопнув передо мною дверь.

Тяжко потрясенный, я тотчас же ушел и отправился домой, собираясь выбрать Энн по ее возвращении. Я был уверен, она слышала, как я препирался с мадам Ширмер, и меня очень расстроило, что она пряталась в гостиной этой женщины и не вышла ко мне. Со своей стороны, я не мог теперь отрицать, что следил за ней; это перестало быть для нее секретом. Но, к моему полному и окончательному изумлению, вернувшись, я застал ее дома. И этого я никак не возьму в толк: она не могла уйти от мадам Ширмер раньше меня, тем более что квартира той находится на втором этаже. Даже если бы ей и удалось каким-то образом совершить это, она бы вряд ли успела начать готовить ужин до моего возвращения. Я был – и остаюсь – озадачен тем, как у нее это вышло. За ужином я ждал от нее какого-нибудь упоминания о моей ссоре с мадам Ширмер, но она ни слова об этом не сказала. А когда я спросил, что она делала днем, она ответила:

– Я взялась за новый роман, а до этого немного прошлась по парку Физико-ботанического общества.

– Снова? Он тебе не наскучил?

– С чего бы? Это такое чудное место.

– Во время твоих прогулок тебе не повстречалась мадам Ширмер, Энн?

– Нет, Томас, конечно нет.

Я спросил, не ошибается ли она, но она, похоже, досадуя на меня, стояла на своем.

– Значит, она обманывает вас, – сказал я. – Иным женщинам свойствен редкий талант заставлять мужчину верить тому, что, как ему доподлинно известно, есть ложь.

– Мистер Холмс, поймите. Энн не способна с умыслом лгать. Это не в ее натуре. Если бы она обманывала меня, я бы понял это и не преминул бы ее уличить. Но нет, она не обманывала – я видел по ее лицу, и я уверен, что она не знает о моем столкновении с мадам Ширмер. Как такое возможно, я не постигаю. При этом я могу утверждать, что она была там, как могу утверждать и то, что она сказала мне правду, – и я затрудняюсь все это себе уяснить. Поэтому тем вечером я, не теряя времени, написал вам, прося совета и помощи.

Такую загадку предложил мне мой клиент. При всей простоте она содержала некоторые детали, которые я нашел небезынтересными. Обратившись к своему испытанному методу логического анализа, я отринул все версии, кроме одной, ибо вероятных толкований этого дела, как мне представлялось, было весьма немного.

– В этом магазине, – спросил я, – вы не заметили каких-нибудь служащих, кроме самого владельца?

– Я помню только старика-хозяина. У меня возникло впечатление, что он работает в магазине один, хотя это и дается ему нелегко.

– Отчего?

– Я имел в виду, что он кажется больным. У него жестокий затяжной кашель и явно слабое зрение. Когда я впервые пришел туда и спросил, как мне найти мадам Ширмер, он взял увеличительное стекло, чтобы рассмотреть мое лицо. А в последний раз он, по-моему, даже и не увидел, как я вошел в магазин.

– Наверное, слишком долго гнулся над книгами при лампе. Однако же, хотя я чрезвычайно хорошо знаком с Монтегю-стрит и ее окрестностями, признаюсь, этот магазин мне неизвестен. Вы не можете сказать, много ли там товара?

– Могу, мистер Холмс. Помещение, прошу отметить, небольшое, должно быть, прежде оно было жилым, но каждая комната забита книгами. Карты, кажется, держат где-то еще. Вывеска у входа предлагает покупателям обращаться с запросами касательно карт к самому мистеру Портману. В магазине я не увидел ни единой.

– Вы, случайно, не осведомились у мистера Портмана – я полагаю, что так зовут владельца, – не заметил ли он, как ваша жена заходила в магазин?

– В этом не было нужды. Как я сказал, зрение у него ужасное. Я ведь сам видел, как она вошла, а мое зрение более чем удовлетворительное.

– Я не подвергаю сомнению вашу зоркость, мистер Келлер. Вообще говоря, ваше дело не являет собою ничего особенного, но все же кое-что мне нужно выяснить лично. Я сейчас же отправлюсь с вами на Монтегю-стрит.

– Сейчас же?

– Сегодня четверг, не так ли? – Потянув за часовую цепочку, я установил, что времени было почти половина четвертого. – И я вижу, что, выйдя сейчас, мы успеем к Портману раньше вашей жены. – Вставая, чтобы надеть пальто, я добавил: – Теперь мы должны быть осмотрительны, ибо речь идет о душевных неурядицах по меньшей мере одной пребывающей в беспокойном состоянии женщины. Будем надеяться, что ваша жена столь же точна и последовательна в своих действиях, как мои часы. Однако если она вновь решит запоздать с появлением, это может пойти нам на пользу.

Затем мы с некоторой поспешностью покинули Бейкер-стрит и вскоре очутились среди толкотни и гама суетливых лондонских улиц. И, пока мы пробирались к Портману, я ясно понял, что заданная мне мистером Келлером задача представляла, если вдуматься, малый интерес, а то и вовсе никакого. Откровенно говоря, она не смогла бы вдохновить добрейшего доктора даже на размышления беллетристического толка. Ныне я понимаю, что это

было третьестепенное дело, на которое я бы набросился в те годы, когда делал первые шаги на поприще частного сыска, но на закате моей карьеры оно показалось мне скорее подходящим для передачи кому-нибудь другому; чаще всего я отсылал подобное юной смене – как правило, Сету Уиверу, или Тревору из Саутворка, или Лиз Пиннер, каждый из них подавал определенные надежды в сыскном ремесле.

Сознаюсь, мое внимание к делу мистера Келлера было вызвано не его многословным рассказом, но двумя исключительно личными, хотя и не связанными друг с другом моментами: интересом любителя музыки к пресловутой стеклянной гармонике – инструменту, который мне часто хотелось опробовать самому, и тем притягательным, необычным лицом, которое я увидел на фотографии. Скажу только, что мне легче объяснить себе привлекательность первого, чем второго; впоследствии я пришел к выводу, что моя мимолетная расположенность к прекрасному полу происходила от частых высказываний Джона о пользе для здоровья, каковую несет сообщение с женщинами. Если не считать такого объяснения сих неподвластных разуму чувств, я бессилён понять прелесть, которой обладала эта неприемная, заурядная фотография замужней дамы.

Глава 4

В ответ на вопрос Роджера, как две японские пчелы попали к нему в руки, Холмс погладил бороду и, немного подумав, рассказал о пасеке, обнаруженной им в центре Токио:

– Нашел ее по чистой случайности – не заметил бы, если бы поехал автомобилем вместе с багажом, но, намаявшись в каюте, я нуждался в моционе.

– Вы много прошли?

– Мне так кажется, да, я уверен, что много, хотя и не могу с определенностью вспомнить точное расстояние.

Они сидели лицом к лицу в библиотеке, Холмс – откинувшись, со стаканом бренди, Роджер – подавшись вперед, стиснув пузырек с пчелами.

– Видишь ли, представилась великолепная возможность прогуляться – погода была идеальная, очень славная, я горел желанием посмотреть на город.

Глядя на мальчика и вспоминая то утро в Токио, Холмс был раскован и словоохотлив. Он, ясное дело, опустил неприятные подробности, вроде той, что заблудился в деловом квартале Синдзюку, ища железнодорожную станцию, и, когда бродил по узким улицам, обычно безотказное умение ориентироваться полностью оставило его. Незачем было говорить мальчику о том, что он едва не опоздал на поезд в портовый город Кобе, или о том, что, прежде чем утешиться пасекой, он наблюдал наихудшие стороны японского послевоенного общества: мужчин и женщин, обитавших в самодельных хижинах, упаковочных ящиках или покореженных железных сараях в самых оживленных частях города; домохозяек с детьми на спине, выстроившихся в очередь за рисом и бататом; людей, втиснутых в переполненные автобусы, сидящих на крышах вагонов, прилепившихся к буферам локомотивов; бесчисленных голодных азиатов, проходивших мимо него по улице, их алчущие глаза, глядевшие на потерянного англичанина, шедшего среди них (опираясь на две трости, скрывая крайне растерянное выражение лица под длинными волосами и бородой).

В конечном счете Роджер узнал лишь о встрече с городскими пчелами. Все равно его без остатка захватило то, что он услышал, и он ни разу не отвел своих голубых глаз от Холмса; лицо Роджера было покорно и внимательно, глаза широко распахнуты, зрачки замерли на этих древних, умных глазах, словно мальчик видел далекие огни, мерцающие за недостижимым горизонтом, проблески чего-то трепетного и живого, существовавшего вне пределов его восприятия. И эти серые глаза, пристально глядевшие на него – пронзительные и одновременно добрые, – тшили в ответ перекинуть мост через пролегшую между ними жизнь, и пустел стакан с бренди, и нагревалось в мягких ладонях стекло пузырька, и выдержанный, умудренный голос каким-то образом заставлял Роджера ощущать себя куда более старшим и много более сведущим, чем он был.

Углубляясь все дальше и дальше в Синдзюку, рассказывал Холмс, он обратил внимание на пчел, летавших туда-сюда, гудевших над маленькими островками цветов под уличными деревьями и над цветочными горшками, выставленными из домов. Затем, пытаясь следовать за пчелами, иногда упуская из виду одну, но вскоре замечая другую, он пришел к оазису в самом сердце города: там было, по его подсчетам, два десятка колоний, каждая из которых могла ежегодно производить приличное количество меда. Какие же находчивые создания – на такой мысли он поймал себя, поскольку было очевидно, что места взяток колоний Синдзюку менялись от сезона к сезону. Возможно, они преодолевали большие расстояния в сентябре, когда цветов было мало, и много меньшие – в пору весеннего и летнего цветения, потому что, когда в апреле распускались цветы вишни, пища вокруг не переводилась. Ведь, пояснил он Роджеру, чем короче путь за взятками, тем больше добыча колонии; соответственно, учитывая менее выраженное соперничество в сборе нектара и пыльцы со стороны

слабосильных городских опылителей вроде сирфид, мух, бабочек и жуков, самые обильные источники пищи явно располагались и использовались в Токио, а не в отдаленных краях.

Но на отправной вопрос Роджера о японских пчелах ответа так и не последовало (а мальчик был слишком хорошо воспитан, чтобы настаивать на нем). При этом вопроса Холмс не забыл. Ответ же не спешил прийти, медлил, как имя на кончике языка. Да, он привез пчел из Японии. Да, они предназначались мальчику в подарок. Но как они попали к Холмсу, было неясно: то ли когда он был на пасеке (что маловероятно, ибо все его думы были лишь о том, как отыскать железнодорожную станцию), то ли во время его разъездов с господином Умэдзаки (так как они много где побывали после того, как он приехал в Кобе). Этот очевидный огрех памяти, как он опасался, был следствием возрастных перемен в его лобной доле – как еще объяснить то, что одни воспоминания оставались невредимы, а другие были основательно повреждены? Тоже странно – он совершенно твердо помнил что-то из детства, например то утро, когда впервые переступил порог школы фехтования мэтра Альфонса Бенсана (жилистый француз поглаживал кустистые военные усы, подозрительно глядя на высокого, худого, застенчивого мальчика); а иногда он смотрел на часы и понимал, что не может отчитаться перед собою за прошедшую часть дня.

Однако он был убежден, что воспоминаний больше сохранилось, чем утратилось. По возвращении домой вечерами он садился за стол и – в перерывах между работой над своим неоконченным трудом («Все об искусстве расследования») и подготовкой тридцатисемилетней выдержки «Практического руководства по разведению пчел» к переизданию в «Бич и Томпсон» – непременно обращал свои мысли туда, откуда вернулся. Тогда он мог вновь оказаться там, на железнодорожной платформе в Кобе, ожидая после долгой дороги господина Умэдзаки и посматривая на проходивших мимо: малочисленные американские офицеры и солдаты бродили среди местных жителей, предпринимателей, семей с детьми; по платформе разносилась и растворялась в ночи какофония голосов и быстрых шагов.

– Шерлок-сан?

Словно из ниоткуда, около него возник стройный мужчина в альпийской шляпе, рубашке апаш, шортах и теннисных туфлях. С ним был другой – чуть моложе, одетый точно так же. Оба одинаковых человека глядели на него сквозь очки в проволочной оправе, и старший – вероятно, лет пятидесяти с небольшим, решил Холмс, впрочем, относительно азиатов трудно судить с уверенностью, – встал перед ним и поклонился; второй без промедления сделал то же.

– Я полагаю, вы господин Умэдзаки.

– Да, сэр, – сказал старший, оставаясь склоненным. – Добро пожаловать в Японию и добро пожаловать в Кобе. Для нас честь приветствовать вас. Для нас также честь принимать вас в нашем доме.

И хотя письма господина Умэдзаки свидетельствовали о хорошем владении английским языком, Холмса приятно удивил его британский выговор, указывавший на порядочное образование, полученное за рубежами Страны восходящего солнца. Ведь Холмс, в сущности, ничего не знал об этом человеке, кроме того, что тот разделял его страсть к зантоксилуму перечному, или, как он назывался по-японски, *хирэ сансё*. Именно этот общий интерес послужил поводом к их продолжительной переписке (господин Умэдзаки написал первым, прочитав опубликованную Холмсом несколько лет назад монографию под названием «Ценность маточного молочка, с дальнейшими рассуждениями о пользе для здоровья зантоксилума перечного»). Но поскольку этот кустарник в основном растет у берегов своей родины Японии, Холмс никогда не видел его своими глазами, как не пробовал и блюд, приготовленных с добавлением его листьев. К тому же, путешествуя в молодые годы, он ни разу не воспользовался возможностью посетить Японию. Когда господин Умэдзаки пригласил его, он понял, что время может не предоставить ему другого случая обследовать те досто-

славные сады, о которых он лишь читал, или однажды в жизни увидеть и испробовать на вкус необычное раскидистое растение, давно и глубоко восхищавшее его, чьи свойства, как ему казалось, способны продлевать человеческие дни так же, как его возлюбленное маточное молочко.

– Почтите и меня знакомством?

– Да, – сказал господин Умэдзаки, выпрямляясь. – Прошу вас, сэр, позвольте мне представить вам моего брата. Это Хэнсүро.

Хэнсүро сгнулся в поклоне, полузакрыв глаза.

– Сэнсэй, здравствуйте, вы очень великий детектив, очень великий...

– Хэнсүро – так правильно?

– Спасибо, сэнсэй, спасибо, вы очень великий...

Какой загадочной внезапно предстала эта пара: один брат свободно говорил по-английски, другой едва мог связать два слова. Вскоре, по дороге со станции, Холмс отметил, что младший своеобразно покачивает бедрами – как будто вес багажа, который нес Хэнсүро, как-то сообщил ему женскую походку, – и пришел к выводу, что эта походка скорее была для него естественна, чем возникла под действием момента (багаж, в конце концов, весил не так уж и много). Они подошли к остановке трамвая, Хэнсүро поставил чемоданы на землю и достал пачку сигарет:

– Сэнсэй...

– Благодарю, – сказал Холмс, взяв сигарету и поднося ее к губам.

Освещенный уличным фонарем, Хэнсүро зажег спичку, прикрывая пламя ладонью. Наклонившись к огню, Холмс увидел изящные руки в следах красной краски, гладкую кожу, аккуратно подстриженные ногти, испачканные на кончиках (руки художника, подумал он, и ногти живописца). Смакуя сигарету, он взглянул в конец темной улицы и рассмотрел вдалеке очертания людей, бороздивших пылающий неоновым вывесок тесный квартал. Где-то негромко, но бодро играл джаз, и между затылками он уловил слабый аромат жареного мяса.

– Думаю, вы голодны, – сказал господин Умэдзаки, всю дорогу от станции молча державшийся рядом с ним.

– Да, – сказал Холмс. – И еще я устал.

– В таком случае, почему бы нам не остаться сегодня дома? Там и поужинаем, если вы не против.

– Превосходное предложение.

Хэнсүро заговорил с господином Умэдзаки по-японски; его элегантные руки бурно жестикулировали – быстро коснулись шляпы, несколько раз изобразили средних размеров клык возле рта, – и сигарета опасно плясала в губах. Потом Хэнсүро широко улыбнулся, кивая Холмсу, и слегка поклонился ему.

– Он спрашивает, привезли ли вы свою знаменитую шляпу, – сказал господин Умэдзаки, чуть конфузясь. – Кажется, она называется охотничьей. И вашу большую трубку – вы ее захватили?

Хэнсүро, все так же кивая, одновременно показал на свою альпийскую шляпу и сигарету.

– Нет, нет, – ответил Холмс. – Боюсь, я никогда не носил охотничью шляпу и не курил большую трубку, это лишь украшения, придуманные иллюстратором, чтобы, наверное, придать мне запоминающиеся черты и увеличить продажу журналов. От меня тут не очень много зависело.

– О, – сказал господин Умэдзаки, и на его лице появилось разочарование, которое тут же отразилось на лице Хэнсүро, когда ему была открыта истина (младший быстро поклонился, по-видимому устыдившись).

– Ничего, – сказал Холмс, привыкший к таким вопросам и, по совести говоря, получавший толику извращенного удовольствия от развеивания мифов. – Скажите ему, что все хорошо, все хорошо.

– Мы не знали, – объяснил господин Умэдзаки, перед тем как успокоить Хэнсюро.

– Немногие знают, – скромно сказал Холмс, выпуская дым.

Скоро показался трамвай, кативший, дребезжа, оттуда, где сияли неоновые вывески, и, пока Хэнсюро поднимал багаж, Холмс опять поглядел вглубь улицы.

– Вы слышите музыку? – спросил он господина Умэдзаки.

– Да. Вообще-то я часто ее слышу, иногда всю ночь. В Кобе мало интересного для туристов, и мы восполняем эту нехватку ночной жизнью.

– Вот как, – сказал Холмс, щурясь в напрасном усилии лучше рассмотреть яркие клубы и бары вдаль (музыку уже заглушал подходивший трамвай). Потом он увидел, как удаляется от неоновых вывесок и едет районом закрытых магазинов, пустых тротуаров, темных углов. Вскоре трамвай углубился в царство развалин, пожарищ, военного разора – опустелую местность без фонарей, где силуэты обвалившихся домов освещались только полной луной над городом.

И, как если бы зрелище заброшенных улиц Кобе окончательно изнурило его, Холмс смежил веки и обмяк на сиденье. Длинный день наконец сломил его, и немногие оставшиеся в нем силы спустя некоторое время ушли на то, чтобы расшевелиться на сиденье и начать подъем по покато́й улице (Хэнсюро шел первым, господин Умэдзаки держал Холмса под руку). Трости стукали по дороге, и теплый порывистый ветер с моря тяготил Холмса, принося с собою запах соленой воды. Вдыхая ночной воздух, он рисовал себе в воображении Сассекс, свой дом, который он нарек «La Paisible»³ («Мой мирный уголок», назвал он его как-то раз в письме к брату Майкрофту), и прибрежную линию меловых скал в окне кабинета. Ему хотелось спать, и он видел свою маленькую спальню, постель с отвернутым одеялом.

– Почти пришли, – сказал господин Умэдзаки. – Перед вами мое наследственное владение.

Впереди, в конце улицы, стоял необычный двухэтажный дом. Чужак в стране традиционных *минка*, дом господина Умэдзаки был выстроен в викторианском стиле – крашенный в красный цвет, окруженный частоколом, с палисадником, устроенным под английский сад. Сзади и с боков особняк облекала тьма, но через витраж свет падал на широкое крыльцо, и дом казался маяком под ночным небом. Холмс был слишком изможден и ни на что не мог отозваться, даже когда вошел за Хэнсюро в холл, уставленный впечатляющим собранием стеклянных изделий ар-нуво и ар-деко.

– Среди прочих мы собираем Лалика, Тиффани и Галле, – сказал господин Умэдзаки, указывая ему дорогу.

– Вижу, – сказал Холмс, изображая заинтересованность.

Потом он почувствовал себя бесплотным, как бы плывущим по течению нудного сна. Впоследствии он больше ничего не мог вспомнить о своем первом вечере в Кобе – ни ужина, который ел, ни беседы, которую они вели, ни того, как его проводили в предназначенную ему комнату. Не помнил он и знакомства с сумрачной женщиной по имени Мая, хотя та подала ему ужин, наполнила его стакан, без сомнения, разобрала его багаж.

Она же явилась утром, отдернула шторы, разбудила его. Ее присутствие не смущало, и, несмотря на то что он находился в полубессознательном состоянии, когда они встретились накануне, ее лицо сейчас же показалось ему знакомым, но неприветливым. Жена ли она господина Умэдзаки, гадал Холмс. Быть может, экономка? Одетая в кимоно, причесавшая сидящие волосы скорее по-западному, она выглядела старше Хэнсюро, но немногим старше

³ Мирная, тихая (*фр.*).

утонченного Умэдзаки. Как бы то ни было, это была непривлекательная женщина, совсем простая, круглоголовая, плосконосая, с глазами растянутыми в две узенькие щелки, отчего она казалась подслеповатой, похожей на кротику. И думать нечего, заключил он, экономка.

– Доброе утро, – проговорил он, не отрывая головы от подушки.

Она не ответила. Вместо этого она открыла окно, впустив в комнату морской воздух. Затем вышла и незамедлительно вернулась с подносом, на котором дымилась чашка чаю и лежала записка от господина Умэдзаки. Используя одно из немногих известных ему японских слов, он выпалил *охайё*⁴, когда она поставила поднос на прикроватный столик. По-прежнему не замечая его, она прошла в ванную комнату и пустила воду. Он сел, недовольный, и пил чай, читая записку:

*Ушел по делам.
Хэнсүро ждет вас внизу.
Буду к вечеру.*

Таики

Охайё, уныло сказал он себе, опасаясь, что его прибытие внесло сумятицу в домашний распорядок (вероятно, не предполагалось, что он примет приглашение, или господин Умэдзаки оказался разочарован не самым бойким джентльменом, которого встретил на станции). С уходом Маи он испытал облегчение, но оно омрачилось мыслью о Хэнсүро и целом дне без приемлемого общения, о том, что придется жестами показывать, что ему нужно, – пищу, питье, уборную, сон. Он не мог в одиночку осматривать Кобе, ведь хозяева оскорбились бы, обнаружив, что он ускользнул из дома. Пока он мылся, душевная смута делалась все сильнее. Он, в общем, повидал мир, но большую часть жизни уединенно провел в Сассекс-Даунсе и сейчас чувствовал себя неуютно в совсем чужой стране, тем более без сопровождающего с приличным английским языком.

Но, когда он оделся и встретился внизу с Хэнсүро, беспокойство ушло.

– Доброе у-то-ра, сэнсэй, – пробормотал Хэнсүро, улыбаясь.

– *Охайё*.

– О да, *охайё*, хорошо, очень хорошо.

Потом, под частые кивки Хэнсүро, довольного его навыком в обращении с палочками, Холмс съел нехитрый завтрак, состоявший из зеленого чая и риса, в котором было распущено сырое яйцо. До полудня они гуляли, наслаждаясь чудесным утром под пологом чистого синего неба. Хэнсүро, подобно юному Роджеру, поддерживал его за локоть, ненавязчиво направляя, и, выспавшийся, еще и укрепивший силы ванной, он видел как будто бы другую Японию. В свете дня Кобе разительно отличался от той опустошенной местности, которую он наблюдал накануне в окно трамвая: не было видно разрушенных зданий; улицы кишели прохожими. По занятой торговцами главной площади бегали дети. Из бесчисленных лапшичных звучали говор и бульканье кипящей воды. На северной возвышенности города он заметил целый район домов в готическом и викторианском стилях, которые, подумал он, должны были первоначально принадлежать иностранным торговцам и дипломатам.

– Чем, если мне будет позволено спросить, занимается ваш брат, Хэнсүро?

– Сэнсэй...

– Ваш брат, чем он занимается, где служит?

– Это... нет, я не понимаю, совсем мало понимаю, не много.

– Спасибо, Хэнсүро.

– Да, спасибо, спасибо вам большое.

⁴ Доброе утро (*яп.*).

– Я рад, что провожу этот славный день в вашем обществе, и ваши недостатки тому не помеха.

– Думаю, да.

Но по ходу прогулки, сворачивая за углы и пересекая людные улицы, он начал всюду отмечать признаки голода. Дети, на которых не было рубашек, не носились по паркам, как остальные; они неприкаянно стояли, словно в изнеможении, свесив костлявые руки вдоль выступающих ребер. На лицах тех, кто попрошайничал у дверей лапшичных, и тех, кто казался сытым – лавочников, покупателей, семейных пар, – было написано одинаковое томление, только у одних оно было менее заметно, чем у других. Тогда ему пришло в голову, что их повседневность скрывала безмолвное отчаяние: за улыбками, кивками, поклонами, вежливостью таилось что-то еще, выкормленное впроголодь.

Глава 5

Путешествуя, Холмс то и дело сталкивался с живущей в людях сильнейшей потребностью, подлинную природу которой он не до конца понимал. Это непостижимое стремление обошло стороной его сельское бытие, но иногда настигало его там в лице чужаков, беспрестанно нарушавших границы его собственности. В прежние времена это была разнородная публика, состоявшая из пьяных студентов, желавших вознести ему хвалы, лондонских следователей, искавших помощи в раскрытии преступления, случайных молодых людей из Гейблза – пользовавшегося известностью учебного заведения в какой-нибудь полумиле от жилища Холмса – и семейств на отдыхе, влекомых надеждой одним глазком увидеть прославленного детектива.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.